



А. А. САЛТЫКОВ

Белые колокольчики

(Воспоминания о Владимире Соловьеве)

Впервые я встретил его, когда был десятилетним мальчиком, а он — молодым профессором, уже закончившим, впрочем, свою профессию после известной речи в пользу помилования убийц 1 марта.

Это было в начале восьмидесятых годов, в Москве, в Пименовском переулке, у графини Софии Андреевны Толстой (вдовы поэта А. К. Толстого), в обширном барском особняке Мансуровых. Графиня, жившая обычно в Петербурге, проводила эту зиму в Москве.

Я уже знал, что Вл. Соловьев — «философ», не совсем, конечно, понимая значение этого слова. Но впечатление он произвел на меня самое глубокое. Поражала и его наружность: он и тогда уж напоминал чем-то «ветхозаветного пророка» — в юности. С тех пор мы встречались с Влад. Соловьевым много раз; иногда я видел его часто, по несколько раз в неделю; иногда — с перерывом на годы. И так почти до самой его смерти. Но первое впечатление осталось незабвенным.

Есть у Соловьева стихотворение «Белые колокольчики». Как и другое в том же роде — «Белые ангелы», — светится оно неярким, как бы отраженным, но отличимым сразу, «нездешним» светом. Между тем образ «белых колокольчиков» — здешний: цветы старого парка гр. Толстого в усадьбе под Петербургом — Пустыньке. На низменной и безнадежно унылой равнине есть уголки неожиданной прелести. Пустынька, расположенная на крутом и высоком обрыве над рекой Тосной, — один из таких уголков. Эту усадьбу постоянно посещал Соловьев; за двадцать пять лет немало в ней провел он недель, даже месяцев. Там и я встречался с ним часто.

Помню напускное равнодушие (в нем скрывалась, может быть, стыдливо-суровая замкнутость юности), с каким я выслушивал многие слова его, уже и тогда меня поражавшие. Помню, эта замкнутость порою сообщалась и ему и он вдруг умолкал — не то что обижаясь, а как бы собираясь обидеться: это было странно и почти забавно при большой разнице наших лет и положений.

Будучи в Пустыньке в то самое время, когда он кончал «Три разговора», я однажды сказал ему, что в них есть что-то, напоминающее Платона.

— Странно, что вы это заметили, — удивился он. — Я как раз в последнее время много занимался Платоном.

И потом добавил со своим обычным, внезапным, как будто холодным и напряженным, а на самом деле тоже стыдливо-замкнутым, юношеским смехом:

— Ну что ж, очень рад, что напоминаю Платона.

Там же, в Пустыньке, говорил он мне о белых колокольчиках на обрыве:

— Нигде я таких не видывал. Под Москвой они бледно-лиловые, в других местах темно-фиолетовые, а такие, совершенно белые, только здесь, в Пустыньке...

Мне ничего не известно о личных отношениях Влад. Соловьева с Алексеем К. Толстым, но знаю, что после смерти Толстого (в конце семидесятых годов) Влад. Серг. был постоянным гостем его вдовы.

Дом Толстых пользовался известностью в тогдашнем Петербурге. Благодаря личной дружбе поэта с Александром II светское общество встречалось в салоне Толстых с писательским миром. В то время «салон» этот был центром умственной жизни. Его дух, смолоду обвеявший Соловьева, сказывался в нем и впоследствии. Упоминаю об этом, потому что нити, идущие от Ал. Толстого к Соловьеву, обычно пренебрегаются биографами философа. Конечно, Ал. Толстой не был философом; но он был человеком глубокой мысли, вернее — глубокой задумчивости, с жадным влечением к «мистике». И если даже этот «дух» Ал. Толстого не был источником мистики соловьевской, то все же она питалась им: «Белые ангелы» Соловьева выросли из «белых колокольчиков» Пустыньки.

Есть в Соловьеве и другие черты, связывающие его с Ал. Толстым, этим «анти-московцем», «киевлянином», поборником связи России с Западом, певцом западного начала в русской стихии. И Соловьев — пусть кое-что сближало его со славянофилами —

никогда не был «восточником»: он жил и умер «западником» (не в чисто русском, а в общеевропейском смысле).

И еще одно влияние Пустыньки на Соловьева: оно идет от Козьмы Пруткова. Что такое Козьма Прутков? Собирательное творчество четырех лиц? Нет; в том, что делает Пруткова таким вечным и живым лицом, он — создание Ал. Толстого. Сущность Пруткова понята слишком односторонне и узко. Это не только в «перл создания» возведенная пошлость, но и нечто более глубокое: это превратная «мистика» пошлости. Начал ее понимать и с ней бороться Ал. Толстой, продолжил и углубил борьбу Соловьев, но уже не в книгах, а в жизни (только в «Трех разговорах», этом соловьевском «Апокалипсисе», звучит внезапным и почти невыносимым диссонансом — «скрежетом ножа по стеклу» в небесной музыке сфер — прутковско-толстовский смех: «Камергер Деларю»). Но эта борьба с «мистикой пошлости» происходит у Соловьева на такой глубине и, может быть, так бессознательно, что если б я не знал его лично, не слышал тогда и не помнил сейчас его загадочно-странного, почти жуткого смеха (тоже «скрежет ножа по стеклу в небесной музыке сфер»), то ничего не знал бы и об этой скрытой борьбе или ничего бы в ней не понял.

Да и вообще Соловьев в чем-то личном, неповторимо единственном, странно и жутко сходствует с Ал. Толстым, точно с двойником своим «нездешним».

Однажды Соловьев читал в моем присутствии у С. Хитрово неизданные письма Ал. Толстого. Было много народу; чтение продолжалось весь вечер. И вот помню мое впечатление: кто читал письма и кто писал их — одно лицо.

В доме Хитрово, где как бы продолжался «салон» Толстых, я и встречался чаще всего с Соловьевым, который был там постоянным гостем.

Соловьев вполне вошел в это общество. Может быть, оно притягивало его известной простотой, терпимостью, отсутствием сектантства и кружковщины, а может быть, еще созвучием с тем, что в самом Соловьеве могло казаться — и действительно было — «аристократизмом».

От своего происхождения Соловьев отнюдь не отрекался, напротив: внук священника — он этим гордился. Но «светскость» в нем была. Порою он, как будто нарочно, подчеркивал ее смешные стороны, часами предаваясь салонному остроумию и каламбурам (например, насчет созвучия *soncours hiprique* и *soncours érique*¹). Не чуждался он и скабрзного анекдота. И чем неудачнее была его собственная или чужая острота, тем он искреннее

ей радовался. Он как будто «отдыхал» на этих пустяках; комичное же вообще было ему присуще.

Помимо всякой внешней «светскости», в Соловьеве жил и подлинный джентльмен. Помню, какой-то юноша, задумав написать комедию, поместил в списке действующих лиц с их характеристиками и Соловьева (под вымышленной, конечно, фамилией).

Характеристику дал грубую, но злую и остроумную. Как водится, это дошло до Соловьева. Он был, кажется, обижен. Однако, встретив автора, сказал добродушно:

— Знаете, смеяться над кем угодно — право каждого. И я осмеивал своих друзей. Но делать это надо при одном условии: им первым показывать шутку. Так я всегда поступал. О вашем же пасквиле я узнал со стороны: нехорошо!

Был у Горбунова рассказ: из петербургского поезда выходят на станции Любань два молодых типичных «интеллигента»; в буфете они видят спящего за тарелкой щей Соловьева. «Смотри! — говорит один. — Это Соловьев. Философ — а тоже ест!»

Да, Соловьев ел и даже, при умеренности в пище, отнюдь не относился к ней с пренебрежением. Любил и вино, особенно шампанское. Почти всегда у него можно было найти полбутылки «Клико-England». Даже за завтраком в любимом его «Малоярославце» он, случалось, предлагал:

— А что, не выпить ли нам шампанского?

Признание прав и за «плотью» соответствовало его религиозным взглядам. Соловьевское христианство — религия не только бессмертного духа, но и бессмертной плоти. Он любил жизнь; он был религиозным исповедником жизни; и даже мелочами ее интересовался, будучи менее всего «ходячей абстракцией».

В толках о «праведности» Соловьева много непонимания. Сам он насчет «праведности» не любил высказываться. В нем вообще было немало затаенного, что могло пониматься надвое. Вероятно, был он, как все живые люди: то грешным, то праведным. Главная же сила его и действительная «праведность» — это врожденная любовь к добру и ненависть ко злу: сила, какой обладают немногие.

Соловьева можно назвать «вечным странником», и в смысле не только внешней перемены мест, но и внутренней. С легкостью, даже с радостью переходил он от догматического богословия к лирике, от философии к срочной журнальной работе (которой существовал) — так же как из уединенной своей квартиры переносился он в многолюдные великосветские салоны. И, по-

очередно изменяя своим склонностям и «жребиям», он оставался верен им всем. Здесь, кажется, раскрывается еще одна черта Соловьева, его подлинной сущности.

Он был нежным сыном, братом, добрым другом. Но вряд ли я ошибусь, если скажу, что любили его более, чем любил он сам. Был в нем какой-то «холодок». Было и то, что могло казаться «фальшью» в отношениях его к женщинам и друзьям, но фальшью, конечно, не было. Я думаю, эти черты, кое-кого от него отталкивавшие, объясняются некоторою отрешенностью от обычных житейских измерений, или особого рода ясновидением. Он очень любил жизнь; в несовершенстве жизни он видел скрытую высшую правду ее, но видел также и мнимость внешних красот жизни. Это-то ясновидение и охлаждало его чувства. Но без него, без «вечной верности в вечных изменах», не было бы и Соловьева с его обаянием живой человеческой личности.

В ней, в живой личности, и заключалась главная сила Соловьева. Он не вмещается в свои книги, как они ни глубоки. Многие из его «прозрений» в них не вошло. Да и в жизни любил он молчать. Этот блестящий собеседник, говорун вдруг среди оживленнейшего спора — умолкал. Или вместо ответа раздражался беспричинным внезапным смехом, таким пронзительным, ни на что не похожим, что одним становилось жутко, а другим — вероятно немногим — открывалось вдруг в здешнем, знакомом лице его иное, далекое, чуждое... и вместе с тем влекущее к себе. Не то ли самое, что светится и в «Белых ангелах» — в «Белых колокольчиках»?

